

НЕИСПОЛНЕННЫЙ



РОМАН АНТИУТОПИЯ
ДМИТРИЙ КУЗЬМИН

Дмитрий Кузьмин

Неисполненный

«Автор»

2026

Кузьмин Д.

Неисполненный / Д. Кузьмин — «Автор», 2026

У каждого — одно законное убийство за всю жизнь. Один патрон, привязанный биометрически к руке, без объяснения причин. Андеррайтер страховой компании восемь лет переводил чужие шансы умереть не своей смертью в цифры на бланке — пока не погиб его лучший друг. В вещах погибшего — флешка с кодом, которого нет ни в одном классификаторе, и список из девяноста трёх похожих смертей. Его имя — под номером девяносто четыре. И неделя до того, как кто-то использует последний патрон.

© Кузьмин Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Copyright	5
Глава первая. Правило третье	6
Глава вторая. Правило первое	8
Глава третья. Правило пятое	10
Глава четвёртая. Правило второе	12
Глава пятая. Правило шестое	15
Глава шестая. Правило одиннадцатое	19
Глава седьмая. Правило четвёртое	22
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Дмитрий Кузьмин Неисполненный

Copyright

Copyright © 2026 Дмитрий Кузьмин

Все права защищены.

Это художественное произведение. Все имена, персонажи, места действия и события являются плодом авторского воображения либо использованы в художественных целях. Любое совпадение с реальными событиями, местами или людьми, живыми или умершими, случайно.

Глава первая. Правило третье

Правило третье: держи руки на виду в лифте. Всегда.

Я держал. Обе руки, на уровне пояса, ладонями к стеклянным дверям, как будто сдавался — хотя формально я просто ждал восьмой этаж. Рядом стояла женщина из бухгалтерии, чьё имя я забывал каждый понедельник и вспоминал только к среде. У неё указательный палец был на месте. У меня тоже. Это ничего не значило. Палец на месте — не гарантия, а просто информация, которую вежливые люди не обсуждают вслух.

Лифт пискнул на пятом. Никто не зашёл. Мы оба чуть выдохнули — не потому что боялись друг друга конкретно, а потому что каждый лишний человек в замкнутом пространстве — это ещё одна переменная, которую ты не можешь проверить.

Так живут все. Так жил и я — восемь лет в «Норт Стар Иншуранс», отдел андеррайтинга по особым рискам, что на человеческом языке означало: я считал вероятность того, что человек умрёт не своей смертью, а чьей-то ещё, и переводил эту вероятность в цифры на бланке.

Ирония этой профессии дошла до меня далеко не сразу. Мы страховали неисполненных — тех, у кого право ещё лежало неиспользованным, как непросроченный купон в кошельке. Клиент платит нам, чтобы его семья получила деньги, если кто-то однажды решит, что настал день воспользоваться своим единственным выстрелом именно на нём. Мы называли это «полис категории Н» — расшифровку никто не произносил вслух, но все знали: Н значит «неисполненный», а неисполненный значит — потенциальная мишень с плюсом к тарифу.

Форма не убивает. Форма просто знает.

Я вышел на восьмом, прошёл вдоль стеклянных кабинетов, кивнул Дереку из комплаенса — тот кивнул в ответ, привычно, без взгляда, — и сел за стол напротив Мэтта.

Мэтт был тем человеком, с которым я обедал последние шесть лет по вторникам и четвергам — эти два дня удачно не совпадали с понедельничным и средовым «будда-боулом» в кафетерии, который компания называла обедом, а мы — «то, от чего потом два часа хочется лечь на пол переговорной». У Мэтта была привычка стучать ручкой по краю монитора, когда он думал, и в то утро он стучал так, будто выбивал морзянку.

— Ты в порядке? — спросил я.

— Да не, всё нормально, — сказал он и посмотрел на меня так, что я сразу понял: не нормально. — Слушай, у меня к тебе будет просьба. Позже. Не здесь.

— Звучит зловеще.

— Звучит как обычный вторник, — сказал он и улыбнулся неуверенно, и застучал ручкой снова.

Я не придавал этому значения. Это важно сказать прямо: я не придавал этому значения, потому что каждый день на этом этаже кто-то выглядел так, будто его вот-вот стошнит от квартального отчёта. Тревога была нашей корпоративной формой одежды, надевали её все, независимо от повода.

В одиннадцать сорок семь — я запомнил время, потому что часы на стене конференц-зала были единственными часами в офисе, которые показывали верное время, и я на них в этот момент случайно смотрел, ожидая, когда Дженис из отдела исков закончит презентацию про рост убыточности за третий квартал — дверь конференц-зала открылась.

Вошёл человек, которого никто из нас не знал.

Это само по себе не было тревожным — в здании работало четыре компании, курьеры и подрядчики заходили постоянно. Тревожным было то, как он вошёл: без взгляда на присутствующих, без секундной паузы, которую делает вошедший не туда человек. Он знал, куда идёт.

Дженис замолчала на середине слова.

Человек подошёл к Мэтту — не быстро, не медленно, тем ровным шагом, каким подходят к вешалке за пальто, — и Мэтт не встал, не отшатнулся, не сделал ничего из того, что я потом тысячу раз прокручивал в голове, представляя, что должен был сделать он или должен был сделать я. Мэтт просто посмотрел на него снизу вверх и сказал одно слово, которое я не расслышал до конца — то ли «ладно», то ли «наконец», — и в комнате раздался звук, который на удивление не был похож ни на что из фильмов. Тише. Суше. Как будто кто-то уронил толстую книгу на паркет.

Человек развернулся и вышел так же ровно, как вошёл. Никто его не остановил. Правило: если он не бежит — не хватай его. Бегущий может задеть ещё кого-то в панике, применить право не туда, куда планировал. Идущего шагом трогать нельзя — он в своём праве, в юридическом смысле этого слова, и это самая абсурдная фраза, которую я произносил про себя за всю жизнь, стоя в трёх метрах от тела человека, с которым обедал по вторникам.

Полиция приехала через одиннадцать минут. Достаточно быстро, чтобы выглядеть заботливо. Достаточно медленно, чтобы всем стало ясно: спешить было некуда.

Женщина-детектив — на бейджике «Родригес» — присела у тела, поднесла сканер к запястью Мэтта, туда, где под кожей у каждого взрослого гражданина страны с восемнадцати лет сидел чип размером с рисовое зерно. Прибор пискнул зелёным.

— Чисто, — сказала она напарнику, не поворачивая головы. — Первое применение. Всё легально.

Слово «чисто» она произнесла так же, как произносила его, наверное, про анализ крови или отпечатки на бокале. Профессиональная нейтральность человека, для которого это была уже, возможно, третья смерть за смену.

— А убийца? — спросил я. Голос прозвучал не моим — выше, тоньше.

Родригес посмотрела на меня впервые за всё время.

— А что убийца? Он использовал своё право. Если он не соврал патрульным на входе в здание и не имеет иммунитета цели — дело закрыто в течение суток. Стандартная процедура.

— Он даже не знал его, — сказал я, хотя не мог этого знать наверняка. — Мэтт никогда о нём не говорил. Я бы запомнил.

— Не обязательно быть знакомым, — сказала она без особой интонации, будто зачитывала методичку, которую зачитывала уже тысячу раз. — Право не требует мотива. Оно требует только добровольности и однократности. — Она встала, отряхнула колено. — Мне жаль вашего коллегу. Правда жаль. Но здесь не о чем расследовать.

Она ошибалась. Я узнал это только через три недели, но в тот момент, глядя на неровное красное пятно на паркете, где раньше был человек, стучавший ручкой по монитору, я уже чувствовал — где-то под рёбрами, в том месте, где страх живёт до того, как у него появляется имя, — что дело было не закрыто. Оно только начиналось.

В тот вечер, разбирая коробку с вещами Мэтта, которую мне вручили из отдела кадров вместе с формой на подпись («получение личных вещей сотрудника»), я нашёл на дне, под фотографией его собаки и заляпанной кофе кружкой с логотипом компании, флешку без подписи, обмотанную скотчем в цвет коробки — так, чтобы её не было видно, если не искать специально.

Я не знал, что на ней. Я ещё не знал, что это меняет всё.

Но я уже понимал одно: Мэтт не удивился, когда увидел того человека. Он его ждал.

Глава вторая. Правило первое

Правило первое: ты никогда не знаешь, сколько прав у человека напротив — одно неиспользованное или ноль. Веди себя так, будто у каждого одно.

Флешку я не открыл в тот вечер. Положил в ящик стола, под старые чеки за парковку, и запер на ключ, который в моей квартире не запирает ничего важного уже года три. Мне казалось, что если я не посмотрю, что на ней, — Мэтт останется просто мёртвым коллегой, а не завязкой чего-то, во что я не готов был впутываться. Это была последняя неделя моей жизни, когда я мог себе позволить такую роскошь — не знать.

В четверг компания устроила «момент тишины» в главном холле — три минуты, стоя, без телефонов, HR-директор произнесла заготовленную речь про «нашу общую утрату» и про «программу психологической поддержки, доступную каждому сотруднику по внутреннему номеру 4-400». Я стоял между Дерексом из комплаенса и новой девушкой из маркетинга, чьё имя ещё не выучил, и думал не о Мэтте, а о том, что за последние восемь лет это была уже третья такая тишина в этом холле. Первая — по мужчине из юридического, о котором говорили, что он «сам напросился, ввязался не в те дела». Вторая — по стажёру, которого никто толком не знал, и тишина по нему длилась заметно короче.

После тишины ко мне подошла Родригес. Не в форме — в штатском, кофе в бумажном стаканчике, будто заскочила случайно.

— У вас найдётся десять минут? — спросила она таким тоном, каким обычно спрашивают про парковку, а не про убийство.

Мы сели в пустой переговорной, той самой, где утром во вторник Дженис так и не закончила презентацию про убыточность.

— Я думала, дело закрыто, — сказал я. — Чисто, стандартная процедура.

— Дело закрыто, — подтвердила она. — Я здесь не по делу. — Она помолчала, будто взвешивая, стоит ли продолжать. — Личный интерес. Не для протокола.

Я ждал.

— Вы знали, что у вашего коллеги — у Мэттью — чип был поставлен одиннадцать лет назад? — спросила она. — В восемнадцать, день в день, как у всех. Одиннадцать лет неисполненное право. Это долго. Большинство держит его в среднем шесть-семь.

— Это как-то помогает делу?

— Ничем не помогает, — сказала она. — Я упомянула это, потому что люди, которые долго не исполняют, чаще всего либо принципиально против, либо... — она сделала паузу, — либо ждут конкретного человека. Копят его, если хотите, для одной определённой цели. А потом умирают раньше, чем успевают воспользоваться.

Я почувствовал, как по спине прошёл холод, ничем не связанный с кондиционером.

— Вы думаете, кто-то знал, что он копил право против кого-то конкретного. И убил его первым.

— Я ничего не думаю, — сказала она ровно, но не убедительно. — Сканер показал чистое, добровольное, однократное применение. Юридически на этом всё. Но сканер не показывает мотив нападавшего. Он только подтверждает, что нападавший имел право нажать и нажал сам, своей рукой, без принуждения в момент исполнения. — Она взглядела на меня. — Вы понимаете разницу?

Я не понимал. И она это увидела.

— Хорошо, — сказала она, — коротко. Чип фиксирует три вещи и только три: личность носителя, статус — исполнено или нет, и биометрию в момент прикладывания пальца к спусковому механизму — то есть что палец принадлежал владельцу чипа и он был в сознании. Всё. Чип не пишет, кто заплатил этому человеку. Не пишет, шантажировали ли его. Не пишет,

было ли на самом деле «добровольно» в том смысле, в каком вы или я вкладываем в это слово, сидя дома с чашкой чая. — Она допила кофе одним глотком. — Закон требует добровольности руки. Не требует добровольности жизни, которая эту руку довела до нажатия.

Тогда я впервые подумал о том, о чём потом думал ещё сотню раз: что «право» никогда не было равным — ни разу, ни для кого. Оно было равным только на бумаге, в тот единственный момент, когда сканер пищал зелёным.

— Зачем вы мне это рассказываете? — спросил я.

— Потому что вы задали правильный вопрос в понедельник, — сказала она, вставая. — «Он даже не знал его». Большинство людей в такой ситуации спрашивают «за что», а вы спросили «откуда он его знает». Это лучший вопрос из двух. — Она застегнула пальто. — Обычно я его не слышу от людей, которые не связаны с делом.

Она ушла, оставив меня наедине с мыслью, которая мне совсем не понравилась: я, возможно, уже был связан с делом, просто ещё не знал, каким образом.

* * *

Вечером я загуглил то, чего никогда раньше не гуглил, хотя жил с этим с самого совершеннолетия — с того дня, когда мне, как и всем, вживили чип и вручили брошюру, которую я не читал дальше первой страницы. «Как работает сканирование права: разъяснение для граждан».

Оказалось, чипов на самом деле два вида, и я не подозревал об этом до того вечера, хотя, наверное, должен был — просто никогда не было повода узнавать. Первый — у обычных граждан, «неисполненных» и «исполненных», зелёный или красный при сканировании, видимый только сотрудникам правопорядка со специальным допуском. Второй — у «должников», нарушивших правило однократности. Их чип при сканировании не мигает — он **звучит**, отдельным резким сигналом, который патрульные называют между собой «будильником», потому что по инструкции, услышав его, обязаны немедленно оповестить всех в радиусе действия сканера, а не только зафиксировать статус. Публичный список должников обновлялся на официальном сайте раз в сутки, и я, открыв его впервые в жизни, увидел не список имён, а карту — маленькие красные точки по всей стране, каждая с таймером: «в розыске» столько-то дней.

Я не удержался и открыл один профиль наугад. Мужчина, сорок один год, Огайо, статус «в розыске» — сто девяносто третий день. Ниже — форум, тот самый, о котором ходили офисные шутки вполголоса и который я никогда не открывал: люди делились наводками о его перемещениях так, как обычно делятся отзывами о ресторанах. Кто-то писал: «видел в баре на Мейн-стрит, не подтверждено». Кто-то отвечал фотографией размытого силуэта. Один комментарий, с двумя сотнями лайков, гласил просто: «сезон открыт, ставки принимаются» — и ссылку на приложение, которое я тоже никогда не устанавливал, хотя название слышал на каждой корпоративной вечеринке хотя бы раз.

Я закрыл ноутбук быстрее, чем следовало, будто сам факт того, что я это увидел, делал меня частью чего-то, к чему я не хотел иметь отношения.

Но одна деталь не отпускала меня всю ночь, пока я лежал и слушал, как в соседней квартире хлопает форточка. Форум, который я открыл про должника из Огайо, был лишь одним из тысяч. А регистрационный номер компании, на серверах которой этот форум технически был размещён — я заметил его случайно, в самом низу страницы, мелким серым шрифтом, — начинался с тех же четырёх цифр, что и внутренний код нашего отдела андеррайтинга.

Совпадение. Наверняка совпадение. В мире, где всё было устроено так, чтобы никто никогда не знал наверняка, — совпадение было единственным объяснением, которое я мог себе позволить, чтобы уснуть.

Глава третья. Правило пятое

Правило пятое: право исполняется лично и добровольно — то, за деньги оно исполнено или по любви, закон не спрашивает. Закон видит только курок.

Ноутбук я закрыл в ту ночь — четверг медленно перетекал в пятницу, а я всё ещё сидел на кухне, — но спать не пошёл. Квартира стала слишком тихой для сна, той тишиной, в которой начинаешь слышать собственное сердцебиение как посторонний звук, будто кто-то стоит в соседней комнате и просто дышит. Где-то около полуночи я поймал себя на мысли, что раз уж я всё равно не усну, откладывать дальше нет никакого смысла.

Бабушка в таких случаях всегда повторяла одно и то же — не как совет, а как рефлекс, вбитый в неё ещё в её собственной юности: никогда не смотри незнакомцу в глаза дольше секунды, особенно в замкнутом пространстве — в автобусе, в лифте, в очереди, — потому что взгляд дольше секунды перестаёт быть взглядом и становится вопросом, а вопросы в этом мире стоят слишком дорого. Я вырос с этим правилом, как с прививкой, не задумываясь, откуда оно взялось. Вспомнил его именно в ту ночь — наверное, потому, что собирался задать вопрос, которого сам боялся.

Я снова достал коробку с вещами Мэтта.

Флешка оказалась зашифрована — не хитро, скорее для проформы, паролем, который я подобрал с третьей попытки, потому что Мэтт использовал один и тот же паттерн для всего: кличка собаки плюс год, когда он её завёл. Мне стало не по себе от того, насколько легко я это вспомнил, — оказывается, я знал о его жизни куда больше мелочей, чем осознавал, пока он был жив.

Внутри — одна папка, без названия, а в ней — три файла. Первый: таблица, похожая на стандартный экспортированный отчёт из нашей внутренней системы, с одной размеченной вручную колонкой в самом конце — судя по всему, Мэтт добавил её сам, работая с исходником, — подписанной просто буквой «К». В строках напротив неё стояла одна и та же пометка, снова и снова, без расшифровки и без имени — как будто Мэтт помечал ею что-то, что сам уже понял, но не успел объяснить.

Но не только это. В колонке классификации риска — той самой, которую я мог бы заполнить даже во сне, потому что вписывал её вручную для сотен клиентов за восемь лет, — у части строк вместо стандартного кода вроде «U1-04-J» стоял хвост, которого не существовало ни в одном классификаторе, какой я когда-либо видел: суффикс «-XR». Я знал наизусть весь актуарный справочник компании — сдавал экзамен на него в первый год работы и с тех пор ни разу не открывал заново, — и был готов поставить месячную зарплату на то, что «-XR» не значился нигде в официальной документации. Кто-то придумал этот суффикс сам, вручную, чтобы помечать что-то, что по определению не должно было иметь названия.

Второй файл — скан документа, старого, судя по шрифту, отсканированного явно не в этом десятилетии, — внутренняя переписка, где имена были частично зачернены, но не везде, и где кто-то — судя по подписи, из совета директоров, — писал буквально следующее: «категорию Н можно монетизировать не только на входе, но и на исходе, вопрос в том, готовы ли мы формализовать процедуру или предпочитаем держать её в статусе индивидуальных договорённостей».

Я перечитал это предложение четыре раза, прежде чем позволил себе понять, что оно означает.

И тогда, только тогда, разрозненные детали последних двух недель наконец сложились в картину, которую я упорно отказывался видеть, пока Мэтт был жив. Как он стал закрываться чуть больше с каждой неделей — сначала просто тише за обедом, потом задерживался в офисе на час, на два, хотя раньше уходил минута в минуту, будто бегство домой было для него смыс-

лом рабочего дня. Как однажды, вернувшись к своему столу быстрее, чем он услышал шаги, я увидел, как он слишком резко свернул окно на экране — не воровато, а именно резко, тем движением, каким сворачивают то, что не готовы объяснять даже человеку, сидящему напротив тебя весь день. Я тогда пошутил про порносайты на рабочем месте, он рассмеялся неубедительно и сменил тему, а я, дурак, не стал допытываться, потому что у каждого в этом опенспейсе была своя причина иногда закрывать окна быстрее обычного.

Я вспомнил, как за неделю до смерти он спросил меня между делом, между двумя глотками кофе, будто случайную мысль вслух: «Ты когда-нибудь проверял, кто на самом деле подписывает наши крупные выплаты?» Я сказал, что нет, с чего бы, это не моя часть работы. Он кивнул и больше не поднимал тему — а я вернулся к своему кофе, потому что был вторник, потому что была работа, потому что у меня не было ни единой причины считать этот вопрос чем-то большим, чем скука человека, застрявшего в опенспейсе на восемь часов. Он практически дал мне ответ за неделю до того, как это его убило, а я даже не понял, что мне задали вопрос.

Третий файл был текстовым, коротким, без форматирования, будто написан второпях, в приложении для записок, а не в почте — как будто Мэтт не хотел, чтобы это прошло через сервер компании даже в черновике. Файл назывался просто: «Если ты это читаешь».

Я не открыл его в тот вечер. Не потому что не хотел знать — а потому что впервые за восемь лет работы в этой компании я отчётливо, физически ощутил, что нахожусь не по ту сторону стола, за которым сидят те, кто решает, а по ту, о ком решают. И мне нужна была ночь, чтобы к этому привыкнуть, прежде чем читать дальше.

Глава четвёртая. Правило второе

Правило второе: не спрашивай напрямую, использовал ли человек своё право. Это как спросить о зарплате — технически законно, социально смертельно.

Пятница началась с того, что я одиннадцать минут стоял перед дверью своей квартиры, прежде чем её открыть.

Не потому что что-то услышал. Просто в последние дни я завёл привычку — новую, не мою, я узнавал её на себе как чужую одежду — задерживаться перед закрытыми дверями на секунду дольше, чем нужно, вслушиваясь в тишину за ними так, будто она могла мне что-то сказать. Соседка с четвёртого этажа, которую я встретил на лестнице, спросила, всё ли у меня в порядке, я выгляжу уставшим. Я сказал, что просто плохо спал. Это было не совсем ложью.

На работе оказалось хуже, чем дома, потому что дома тишина хотя бы была моей собственной, а в офисе — общей, и от этого чужой тревоги было не спрятаться. Стол Мэтта до сих пор стоял пустым — HR обещала «пересмотреть рассадку в течение квартала», формулировка, которая в переводе с корпоративного означала «мы не знаем, что делать с местом, где убили человека, поэтому просто подождём, пока все привыкнут к дыре». Никто не садился рядом. Даже стул отодвинули дальше обычного, будто расстояние само по себе было защитой.

Дженис из отдела исков теперь здоровалась со мной иначе — раньше просто кивала, теперь произносила полное «доброе утро», глядя чуть дольше, чем нужно, — я узнал этот взгляд, потому что видел его на других после других смертей: это был взгляд человека, который проверяет тебя на признаки того, что ты знаешь что-то, чего не знает он, и одновременно надеется, что ты этого не заметишь.

Мы все стали вежливее друг с другом. Это была не доброта — я понял это где-то к среде, наблюдая, как двое из юридического отдела расступаются в узком коридоре, синхронно, без единого слова, каждый прижимаясь к своей стороне, — это была хореография страха, отточенная десятилетиями до автоматизма, до того, что выглядела почти как хорошие манеры. Придерживать дверь. Не подходить со спины. Не повышать голос в закрытом помещении. Не шутить про чужую смерть, даже если шутка напрашивалась сама, потому что ты никогда не знал, кто в комнате потерял кого-то от исполнения и насколько свежа рана.

В обед я вышел в дайнер через дорогу — тот самый, куда ходил обедать ещё до того, как узнал имя Мэтта, не то что видел, как он умирает у меня на глазах. Раньше здесь у входа стоял один-единственный столик спиной к двери, и он просто всегда пустовал — годами, без объявлений, без правил, люди сами обходили его стороной, как будто мебель источала запах, который чувствовали все, кроме меня. Года три назад дайнер закрылся на две недели «на реконструкцию», а когда открылся снова, этого столика у входа просто не стало — не переставили, не развернули, а убрали совсем, и на его месте появилась стойка с приправами. Никто из посетителей этого не обсуждал, потому что обсуждать было нечего: планировка зала просто наконец согласилась с тем, что все и так знали.

Я сел в дальнем углу, лицом к входу, и, пока ждал заказ, разглядывал соседний столик — молодая пара, оба чуть за двадцать, обедали, и у него на поясе, поверх рубашки, без всякой попытки спрятать, висела кобура с тем самым пистолетом, который лежал у меня дома в ящике комода, и у бабушки — в верхнем ящике серванта, и, наверное, у четырёх из пяти взрослых в этом зале. «Компромисс» — так его называли в законе и в рекламных брошюрах, которые каждому выдавали в восемнадцать вместе с чипом, хотя в обиходе этим словом почти никто не пользовался всерьёз, чаще говорили просто «твой», как о чём-то настолько личном, что не нуждалось в уточнении, чей именно. Ярко-жёлтая рукоять — единственная деталь дизайна, которую государство оставило себе, чтобы издалека было видно: это не оружие в старом смысле слова, это гарантия, оплаченная из бюджета и выданная бесплатно каждому, кто доживал до

совершеннолетия, потому что вооружённое равенство, как объясняла та же брошюра, было единственной формой равенства, которую государство после Войны согласилось субсидировать. Один патрон на всю жизнь — не потому что второй некуда вставить, а потому что после выстрела механизм заваривался изнутри необратимо, превращая оружие в кусок металла с жёлтой рукоятью, который люди обычно так и оставляли лежать в ящике, как оставляют просроченные документы. И чип в руке должен был коснуться чипа в рукояти в момент нажатия — иначе не срабатывало вовсе, так что выстрелить из чужого «Компромисса» было не опаснее, чем выстрелить из бутафории на сцене.

Я не заметил, когда начал думать об этом как о мебели. Наверное, тогда же, когда дайнер убрал тот столик у входа.

Мебельные каталоги, которые изредка ещё падали в почтовый ящик, давно перестали продавать кресла словом «уют» — их продавали цифрой. Полгода назад мне пришёл один такой, крупным шрифтом на обложке: «Обзор 180°», будто это была не эстетическая категория, а технические характеристики вроде объёма багажника. У каждой модели в каталоге — своя маленькая пиктограмма сектора обзора, заштрихованная под нужным углом, точь-в-точь как зона покрытия wi-fi роутера в инструкции к роутеру. Я не заказал ничего. Но и не выбросил каталог сразу, что тоже, наверное, было ответом на вопрос, который я себе не задавал.

Дома я больше ни с кем не расшаркивался, потому что дома не с кем было. У меня не было того, что раньше, наверное, называлось бы «кругом друзей» — были коллеги, с которыми я обедал, была бабушка, которой я звонил по воскресеньям, и был Мэтт, который теперь был пустым стулом и последним файлом на флешке, который я так и не решился открыть. Я не был одиночкой из книг — не по трагическому выбору, без драмы, — я просто как-то незаметно перестал прикладывать усилия к тому, чтобы это было иначе, году примерно на третьем после университета, и мир не особенно возражал против такого решения, потому что мир, где каждый лишний человек в твоей жизни — ещё одна переменная, которую нельзя проверить, не слишком поощрял расширение круга общения.

Единственным местом, где я по-настоящему переставал прислушиваться к тишине за дверью, был мир, которого не существовало физически.

Я надевал шлем около десяти вечера, почти каждый вечер, и на следующие два-три часа переставал быть человеком с восьмого этажа «Норт Стар Иншуранс» и становился персонажем в кооперативном рейде, где худшее, что могло со мной случиться, — виртуальная смерть с отскоком в лобби через пять секунд. Там были другие люди — голоса без лиц, ники без чипов, — и я разговаривал с ними свободнее, чем с живыми соседями по лестничной клетке, потому что здесь единственным риском было потратить впустую вечер, а не жизнь. Один из постоянных напарников по рейдам, ник «Кордон», знал обо мне больше, чем знала Дженис из отдела исков за восемь лет работы за соседним столом, просто потому что в шлеме никто никогда не подходил ко мне со спины.

В субботу вечером я решил, что с меня хватит шлема на неделю, и пошёл в бар.

Я не был в баре — в настоящем, не виртуальном — почти два года, и, зайдя внутрь, сразу вспомнил почему. Дело было не в цене и не в качестве коктейлей. Дело было в математике: алкоголь снижает контроль, бар — замкнутое пространство, ты не выбираешь соседей за стойкой, и по статистике, которую цитировали на каждом уроке половой и социальной грамотности в школе, значительная доля исполнений происходила именно в барах, поздно вечером, между людьми, которые пятнадцать минут назад были незнакомцами, а потом кто-то сказал что-то не то, а у кого-то из двоих в кармане годами лежало неиспользованное право и градус в крови ровно тот, что превращает многолетнюю обиду на мир в решение, принятое за секунду.

Я сел с краю стойки, там, откуда просматривался весь зал и дверь, — тоже привычка, тоже не моя изначально, а впитанная от всех вокруг, — и заказал пиво. Бармен поставил его аккуратно, на расстоянии вытянутой руки, не приближаясь ближе, чем нужно, — тоже часть хорео-

графии, отточенная годами обслуживания людей, каждый из которых мог оказаться последним, кого ты обслужил.

Через два стула от меня мужчина лет пятидесяти громко рассказывал что-то о работе своему соседу, и в какой-то момент рассмеялся слишком резко, и я заметил, как весь ряд у стойки — включая меня — едва заметно подобрался, готовый к тому, что смех перерастёт во что-то другое. Не перерос. Просто смех. Но та секунда, в которую все вокруг синхронно затаили дыхание, сказала мне о состоянии этого общества больше, чем любой урок истории.

Через квартал от этого бара, я знал, было другое заведение — без вывески, по рекомендации, куда я никогда не заходил и, наверное, не имел бы права зайти при всём желании. Там собирались только «чистые» в другом смысле слова, не в смысле сканера должников, а в разговорном — те, кто уже исполнил своё право, кто бы то ни был, по какой бы причине это ни было. Официально дискриминация по статусу была незаконна, ни один бар не мог повесить табличку «только для исполнивших», но неофициально такие места существовали в каждом городе, передавались из уст в уста как адрес хорошего дантиста, и логика была предельно простой: если у тебя больше нет права, ты больше не можешь быть тем, кто исполнит его на ком-то в зале, — ты физически безопаснее для всех вокруг, чем любой человек с улицы. Некоторые называли такие места «выдохом» — потому что это было единственное общественное пространство, где взрослый человек мог напиться в хлам и уснуть на стойке, не рискуя, в теории, вообще ничем со стороны окружающих.

Я туда не пошёл. Не потому что не имел права по закону — просто ещё не был готов признаться себе, что мне физически хочется места, где безопасность важнее свободы, а свобода была последним, что у меня формально оставалось, раз всё остальное — спокойствие, круг общения, простое ощущение, что завтра будет как вчера, — я, судя по всему, уже потерял где-то на прошлой неделе, просто ещё не до конца это осознал.

Домой я вернулся раньше, чем планировал, трезвее, чем планировал, и открыл ноутбук раньше, чем позволял себе за все эти дни.

Третий файл. «Если ты это читаешь».

Я нажал.

Текст был короткий — на экране едва набралось на полстраницы, — но третья строчка снизу заставила меня встать из-за стола и подойти к окну, будто расстояние от экрана могло что-то изменить в том, что я только что прочитал:

«Если ты это читаешь, значит, я не успел сделать это сам, и значит, они поняли, что я знаю. Не ходи к Родригес. Она не та, за кого себя выдаёт — вернее, та, но не только та. Посмотри, кто подписывает страховые выплаты по категории Н за последние три года на суммы больше стандартного лимита. Один и тот же человек одобряет каждую. Одна и та же фамилия. Твоя тоже есть в списке — не как одобряющего. Как...»

На этом файл обрывался. Не заканчивался — обрывался, ровно на середине слова, будто Мэтт печатал это в последний раз в своей жизни и не успел закончить мысль, или не успел сохранить, или — эта мысль пришла мне в голову только сейчас, стоя у тёмного окна собственной квартиры, — кто-то другой оборвал файл уже после того, как Мэтт его написал.

Глава пятая. Правило шестое

Правило шестое: никогда не поворачивайся спиной к новому коллеге в первую неделю. Не потому что он опасен — потому что ты ещё не знаешь его достаточно, чтобы предсказать.

Первые двадцать минут после того, как файл оборвался у меня перед глазами, я не помню связно. Помню, что сел обратно за стол, потом снова встал. Помню, что дважды проверил замок на входной двери, хотя проверял его перед тем, как сесть за ноутбук, и знал, что он заперт. Помню, что открыл файл ещё раз, потом ещё, как будто при пятом прочтении оборванное предложение вдруг решит закончиться иначе.

Твоя тоже есть в списке. Не как одобряющего. Как...

Как — что? Как жертву? Как цель? Как одного из тех, кому «сформировали профиль», если пользоваться языком той переписки совета директоров, которую я читал четыре дня назад и старался не думать о ней слишком буквально? Мозг с готовностью подставлял самое страшное из возможных окончаний фразы, потому что мозг в панике не оптимизирует под вероятность — он оптимизирует под то, чтобы ты больше никогда не расслаблялся.

Я не спал в ту ночь — не в смысле метафоры, а буквально: пролежал до пяти утра, слушая звуки в подъезде, которые слышал там каждую ночь последние шесть лет и никогда раньше не замечал.

Воскресенье я провёл, почти не выходя из квартиры. Один раз сходил за едой и тут же пожалел об этом — улица показалась мне враждебнее, чем когда-либо, каждый встречный шёл слишком близко, слишком по прямой. К вечеру я убедил себя, что это просто нервы и недосып, что понедельник расставит всё по местам, потому что рутина, как я уже успел понять за эту неделю, была единственным лекарством, которое у меня оставалось.

В понедельник, ещё до будильника, я поймал себя на мысли, которая отрезвила меня больше, чем что-либо за эту неделю: если я приду на работу таким, каким я себя ощущал в эту секунду — с трясущимися руками и тем взглядом, который я так хорошо научился считывать у других за последние дни, — я стану замечен. А в мире, где заметность равна риску, быть заметным сейчас, когда я не знал, кто и зачем внёс моё имя в чей-то список, было, возможно, худшим, что я мог с собой сделать.

Поэтому я умылся холодной водой дольше, чем требовалось. Выбрал ту же рубашку, что носил по понедельникам последние два года, потому что рутина — единственная маскировка, которая не требует актёрской игры. И на пороге офиса, ровно в девять ноль две, как всегда опаздывая на две минуты, чтобы не толпиться у турникетов с остальными, я заставил лицо сложиться в то самое выражение вежливой офисной усталости, которое я, оказывается, носил каждый день последние восемь лет не задумываясь, а теперь надевал сознательно, как костюм.

Дженис кивнула мне у кофемашины. Я кивнул в ответ, спросил про её выходные — она ответила что-то про племянника и футбольный матч, я не запомнил детали, потому что часть меня в этот момент уже была не здесь, а прикидывала, с какого угла безопаснее подойти к вопросу, который меня действительно интересовал.

Мне нужен был доступ к базе одобрений страховых выплат по категории Н. Формально я имел к ней частичный доступ — андеррайтинг работал с исками на входе, но выплаты после подтверждённого исполнения проходили через другой отдел, и обычно я не видел эти записи, если только дело не возвращалось ко мне по перерасчёту тарифа для семьи погибшего. Мне нужен был повод, который не выглядел бы как повод.

Он нашёлся сам, ближе к обеду — почти оскорбительно просто, как будто вселенная решила хотя бы раз не усложнять мне жизнь. В общей рассылке пришло письмо от финансового отдела: ежегодная сверка резервов по категории Н, всем руководителям групп нужно было подтвердить корректность актуарных допущений за прошедшие три года, приложив «сводные

данные по одобренным случаям для перекрёстной проверки». Я не был руководителем группы. Но я знал, кто им был — Тревор, тихий человек лет шестидесяти, который явно собирался спихнуть эту рутинную сверку на кого-то из подчинённых, потому что делал это каждый год.

— Тревор, — сказал я в обед, максимально буднично, держа поднос с той самой едой, которую называл «то, от чего хочется лечь на пол переговорной», — давай я сделаю сверку в этом году? Мне всё равно нужно закрыть часы до конца квартала, а я такое люблю, если честно. Систематизация — моё.

Он посмотрел на меня с той благодарной подозрительностью, с которой смотрят на человека, добровольно предлагающего сделать чужую скучную работу, но подозрение длилось меньше секунды, потому что удобство почти всегда побеждает подозрительность у людей, которые устали.

— Всё твоё, — сказал он. — Пришло доступ до конца дня.

Так просто. Настолько просто, что где-то на периферии мысли у меня мелькнуло — а не именно ли так это всегда и работает, не так ли Мэтт получил доступ к тому, что нашёл, — через скучную рутину, которую никто не хочет делать, а не через драматичный взлом сервера в фильмах.

Доступ пришёл в четыре пополудни. Я не открыл его сразу — ещё одно правило, которое я выучил за эту неделю сам, без чьей-либо подсказки: делай важные вещи не тогда, когда хочется, а тогда, когда это выглядит естественно. Я открыл таблицу в шесть вечера, когда офис почти опустел, кроме нескольких человек из юридического, которые вечно задерживались допоздна и не обращали внимания ни на кого, кроме собственных экранов.

Три года записей. Сотни строк. Сначала я просто смотрел на цифры так, как смотрел на них каждый рабочий день восемь лет подряд — привычно, без подозрения, — пока не заметил колонку, к которой обычно не имел доступа: «выгодоприобретатель», то есть тот, кому в итоге уходили деньги после подтверждённого исполнения.

По логике вещей выгодоприобретателем почти всегда должен быть кто-то из семьи погибшего — супруг, дети, иногда родитель, если клиент был молод и одинок. Так оно и было в подавляющем большинстве строк, и я быстро пролистывал их, ища глазами не сумму, а саму структуру записи, которая начала мне что-то напоминать, хотя я ещё не мог сформулировать, что именно.

А потом я нашёл первое несовпадение. Полис оформлен на женщину тридцати четырёх лет, выгодоприобретателем указан супруг — но дата, когда супруг был **изменён** в системе на текущего, стояла всего за одиннадцать дней до даты самого исполнения. Я списал бы это на развод, на новый брак, на что угодно бытовое, если бы не наткнулся тремя строчками ниже на точно такой же паттерн: другой полис, другая жертва, другой выгодоприобретатель — тоже изменён за считанные дни до события.

Я открыл фильтр и отсортировал таблицу по одному-единственному параметру: разница в днях между датой последнего изменения выгодоприобретателя и датой исполнения права. И когда таблица пересобралась, у меня внутри что-то физически сжалось, потому что то, что должно было выглядеть как случайный разброс — иногда пять лет назад, иногда десять, потому что люди меняют завещания и полисы по десятку бытовых причин, — вместо этого сложилось в аккуратный, неестественно плотный кластер. Девяносто три записи. Все — с разницей меньше трёх недель. Все — с суммой выплаты вдвое-втрое выше стандартного лимита. И все девяносто три — с одной и той же подписью заверяющего в колонке «К».

И тогда я вспомнил суффикс с флешки Мэтта — «-XR», код, которого не существовало ни в одном официальном классификаторе. Я добавил его в фильтр отдельной строкой, просто чтобы проверить самого себя. Все девяносто три записи, к которым я только что пришёл через дату, совпали один в один с теми, что несли этот суффикс. Ни единого расхождения в обе

стороны. Мэтт нашёл этот же список раньше меня, с другой стороны, кодом, а не датами, — и пришёл к тому же самому месту, что и я, только я об этом ещё не знал, когда он был жив.

Я откинулся на спинку кресла и заставил себя не думать это слишком быстро, а разложить по шагам, как раскладывал бы любую другую подозрительную заявку на своей обычной работе.

Шаг первый: выгодоприобретателя меняют незадолго до смерти. Это значит, что кто-то заранее знает — не предполагает, а именно **знает**, — что исполнение произойдёт в ближайшие недели. А единственный способ знать это заранее — если исполнение не случайность улицы, а результат договорённости.

Шаг второй: сумма выплаты каждый раз завышена сверх стандартного лимита. Обычная страховая логика этого не допускает — лимит есть лимит, превышение требует персонального одобрения именно потому, что compliance должен был бы такое превышение заметить и остановить. Если превышение проходит систематически — значит, тот, кто одобряет, не проверяет, а **пропускает**.

Шаг третий, и от него меня едва не стошнило прямо за собственным столом: если выгодоприобретатель меняется заранее на человека, который на самом деле не связан с погибшим личными отношениями, — значит, выплата идёт не семье. Она идёт **тому, кто вообще не должен был иметь права её получать** — подставному лицу, за которым, скорее всего, стоит не заказчик убийства, а тот, кто эту выплату одобрил.

Компания сама у себя не крала. Крала конкретная группа людей внутри неё — те, кто отвечает за одобрение крупных выплат. Схема была простой и грязной: заказчик платил напрямую человеку с нужной подписью — за то, чтобы конкретная цель умерла, и за то, чтобы выплата по её полису прошла без вопросов. Часть этих денег уходила исполнителю — тому, у кого было неиспользованное право и достаточно отчаянные обстоятельства, чтобы его продать. Остальное оседало у тех, кто одобрял дело, — через раздутую выплату подставному «выгодоприобретателю», связанному не с заказчиком, а с ними самими. Обманывали здесь дважды: семью погибшего, лишённую законного наследства, и саму компанию, переплачивающую по полису, который её же сотрудники превратили в кормушку.

Мэтт был аналитиком. Мэтт сверял именно эти цифры — не потому что искал заговор, а потому что это была его обычная, скучная работа, сверка отчётности, — и где-то в рутинной таблице, точно такой же, как та, что сейчас светилась передо мной, он наткнулся на тот же плотный кластер дат, и что-то в его голове щёлкнуло точно так же, как только что щёлкнуло в моей.

«К» — не тайна: инициалы сертифицирующего офицера, обязательные при выплате сверх лимита, я восемь лет мельком видел такие колонки в других отчётах и никогда не обращал внимания, чьё имя там стоит, потому что до этой минуты не было повода. А теперь обратил — и увидел то, что не могло быть совпадением: за девяносто тремя разными делами, в теории разбросанными по десяткам разных офицеров, стояли одни и те же две буквы. Один и тот же человек, снова и снова.

Я попытался вспомнить, где мог видеть эти инициалы раньше, и тогда, глядя на экран, вспомнил кофе в бумажном стаканчике, штатскую одежду и голос, который сказал мне «личный интерес, не для протокола» — а вместе с ним и бейджик, который я видел один-единственный раз, мельком, в тот вторник, когда она склонилась над телом Мэтта со сканером в руке.

Кариша Родригес.

Родригес.

Я закрыл ноутбук слишком резко — резче, чем следовало в почти пустом офисе, где звук разносится дальше, чем кажется, — и один из юристов в дальнем углу поднял голову на звук. Я улыбнулся ему, вежливо, буднично, как будто просто закончил рабочий день, и он снова опустил взгляд в экран.

Только тогда, идя к лифту с ровным, тренированным за неделю выражением лица, я позволил себе подумать до конца ту мысль, которую весь вечер держал на периферии: если Родригес раз за разом заверяла своей подписью выплаты компании, которая, судя по всему, продавала чужие смерти как товар, — то её визит ко мне в переговорной, её «личный интерес, не для протокола», её слова про то, что чип не фиксирует настоящую добровольность, — были не помощью следователя постороннему свидетелю.

Это была проверка. Она хотела знать, что мне известно.

И я только что, сам того не желая, показал ей — вернее, показал системе, потому что каждый мой клик в этой базе кто-то наверняка мог отследить, — что я знаю гораздо больше, чем должен.

Глава шестая. Правило одиннадцатое

Правило одиннадцатое: не спрашивай безпалого, почему он отказался. У каждого своя причина, и ни одна из них не твоё дело.

Прошла почти неделя с того вечера, когда я закрыл ноутбук в опустевшем офисе и шёл к лифту с ровным, тренированным лицом, думая, что самое страшное на сегодня уже произошло. В следующий понедельник, когда я вернулся в офис, Тревор не было на месте — и не потому что заболел или отпросился.

Я заметил его отсутствие не сразу — сперва просто удивился, что сверку за него никто не спрашивает, что стул за его столом задвинут ровнее обычного, будто его придвинули, а не просто отодвинули, вставая. Только к обеду по этажу поползла та особая, вязкая тишина, которая всегда предшествовала официальному объявлению на день или два — та же тишина, какая стояла в этом холле в тот четверг, когда HR-директор произносила заготовленную речь про Мэтта.

HR прислала письмо в четырнадцать сорок. Обтекаемое, почти дословно повторяющее то, что рассылали тогда, — «с прискорбием сообщаем», «трагическое происшествие в выходные», «просим уважать частную жизнь семьи», — только имя стояло другое. Я узнавал шаблон предложение за предложением, будто кто-то в HR открыл тот же файл и просто заменил в нём фамилию. Ни слова о том, как. Но мне и не нужны были подробности.

Я вышел в туалет на другом этаже, запер кабинку и стоял там, кажется, минут десять, пытаюсь дышать так, чтобы это не было слышно снаружи.

Потому что я знал — не предполагал, а знал, с той тошнотворной уверенностью, с какой узнаёшь неизбежное за секунду до того, как оно случится, — что Тревор умер не случайно. Он умер, потому что дал мне доступ.

Я прокрутил это в голове десять раз, пытаюсь найти дыру в логике, которая позволила бы мне не думать об этом как о своей вине. Не получилось. Схема была слишком простой, чтобы её не заметить, если ты вообще знал, что искать: доступ к базе выплат по категории Н выдавался не персонально мне — он выдавался через учётную запись Тревора, потому что формально запрос на сверку числился за ним, а я был просто исполнителем, которому он «переслал доступ». В системе это выглядело не как «сотрудник Х открыл записи по поручению руководителя», а гораздо проще и грубее: как то, что записи открыл сам Тревор. Каждый мой клик в шесть вечера в четверг записывался под его именем, потому что так была устроена система делегирования прав в компании — глупо, небрежно, за десятилетия никто не удосужился это исправить, а теперь эта небрежность стоила человеку жизни.

Кто-то отслеживал эти логи. Не полиция — компания, или кто-то внутри неё, у кого был доступ к мониторингу активности в базе выплат, кто-то, кому не понравилось, что записи по девяноста трём делам с инициалами «К.Р.» вдруг кто-то листал вечером в четверг, отсортировав их по совершенно определённом, неслучайному параметру.

Они не знали, что это был я. Они увидели Тревора.

И Тревор умер за то, что нашёл я.

Эта мысль сидела во мне весь день тяжёлым, физическим грузом, гораздо тяжелее, чем страх за собственную жизнь, который я носил с прошлой недели. Страх был про меня. Это было про кого-то другого — человека, который просто хотел спихнуть скучную сверку и оказал мне услугу, тихого шестидесятилетнего Тревора, который в последний раз, что я его видел, сказал «всё твоё» с облегчением человека, которому наконец не придётся делать нудную работу в пятницу вечером.

Домой в тот день я шёл пешком, хотя обычно ездил на метро — мне казалось, что толпа под землёй, замкнутое пространство вагона, было последним, что я мог себе сейчас позволить.

Улицы в это время были почти пусты — час между рабочим днём и вечерним потоком, — и я шёл, глядя себе под ноги, той особой офисной походкой, которая должна была сигнализировать окружающим: не подходи, мне некогда, у меня дела, — хотя на самом деле мне просто было физически необходимо, чтобы никто не оказался рядом со мной ближе, чем на три метра.

Я почувствовал, что кто-то держит мой шаг, только на третьем квартале.

Это была женщина — я не сразу разглядел её лицо, потому что первым, что я заметил, была её манера идти на полшага позади и чуть сбоку, вне зоны периферийного зрения, но достаточно близко, чтобы я понял: она держится рядом не случайно. Инстинкт, вбитый в меня всей последней неделей, велел ускориться. Я ускорился. Она ускорила тоже, без малейшего усилия, будто мой темп её не касался вовсе.

— Не беги, — сказала она тихо, не поворачивая головы, будто мы вообще не разговаривали, а просто шли рядом в одну сторону, как случайные попутчики. — Бегущих замечают быстрее, чем тех, кто идёт.

Я остановился всё равно — резко, у витрины закрытой химчистки, спиной к стеклу, лицом к улице, потому что спина к стеклу означала хотя бы, что никто не подойдёт со спины. Она остановилась тоже, в паре шагов, и впервые посмотрела на меня прямо — не дольше секунды, будто тоже помнила бабушкино правило.

— Тревога убрали не за то, что он знал, — сказала она без предисловий, тем же ровным тоном, каким сообщают расписание автобусов. — А за то, что решили, будто он нашёл.

У меня внутри что-то оборвалось.

— Откуда вы...

— Оттуда же, откуда и вы, — сказала она. — Из тех же записей. Только я смотрела на них дольше и раньше вас.

Она протянула мне сложенный листок — не флешку, не телефон, просто бумагу, старомодно и бессмысленно надёжно в мире, где всё остальное оставляло цифровой след. Я машинально протянул руку навстречу, автоматическим жестом человека, которого с детства учили пожимать руки и брать протянутое двумя пальцами, — и только тогда, когда она чуть отвела ладонь, чтобы просто вложить листок мне в пальцы, а не соприкоснуться, я увидел.

У неё не было указательного пальца на правой руке. Не ранение, не случайность — ровный, старый, зарубцевавшийся край, которому явно было не меньше десяти лет.

Я замер с полусогнутой рукой, не зная, довести ли жест до рукопожатия или отдернуть её, и это, кажется, насмешило её больше, чем что-либо за весь разговор — не улыбкой, а едва заметным движением в углах глаз.

— Не надо, — сказала она. — Я уже сделала свой выбор.

Я не сразу понял, что она имеет в виду. Я стоял и смотрел на её руку так долго, что это, наверное, само по себе было неприлично — я вспомнил бабушкино правило про секунду и нарушил его раза в четыре, — а она просто ждала, пока до меня дойдёт, с тем терпением, с каким взрослые ждут, пока ребёнок сам додумается до очевидного.

— Вы... — начал я и не знал, как закончить вопрос, не прозвучав грубо.

— Безпалая, — сказала она за меня, буднично, без нажима, как называют профессию, а не идентичность. — Да. Отрубила сама, восемнадцать лет назад, в тот же день, когда мне поставили чип. Некоторые ждут годами, чтобы решить. Я не стала ждать.

— Почему?

Она посмотрела на меня — на этот раз дольше секунды, будто нарочно давая понять, что для неё это правило не действует так, как для меня.

— Это не ваше дело, — сказала она без злости, просто констатируя факт, как называла бы правило дорожного движения. — Вы задаёте вопрос, который задаёт каждый в первую минуту, и почти никто не имеет права на ответ. У меня была причина. Она моя.

Я опустил взгляд на листок в руке. Адрес, написанный от руки, без названия улицы — только цифры и время, назначенное на послезавтра, поздний вечер.

— Что это?

— Место, где вам стоит наконец увидеть, во что вы влезли, — сказала она, уже отступая на шаг, снова становясь той тенью на полшага позади, которой была минуту назад. — Компания, на которую вы работаете, продаёт не страховку, мистер... — она сделала крохотную паузу, — впрочем, неважно, как вас зовут. Она продаёт то, что осталось от Реформы, тем, кто понял систему лучше, чем те, кто её придумывал.

— Откуда вы знаете, что я не приведу за собой полицию? Или их?

— Не знаю, — сказала она просто. — Но Тревор умер вместо вас на прошлой неделе, а вы всё ещё живы. У кого-то, значит, есть время, прежде чем разобраться, кто из вас двоих на самом деле нашёл то, что нашёл. Я бы на вашем месте не тратила это время на вопросы, на которые у вас всё равно не будет ответа сегодня вечером.

Она развернулась и пошла — не быстро, не оглядываясь, — и через два квартала свернула в переулок, которого я, кажется, никогда раньше не замечал, хотя ходил этой дорогой годами.

Я остался стоять у витрины закрытой химчистки, глядя на листок в руке, на ровный, уверенный почерк, на адрес без названия улицы, и думал только об одном: что бы ни ждало меня послезавтра вечером по этому адресу, обратной дороги к прежней жизни — к лифту, к рутинной работе, к вежливому неведению — у меня, судя по всему, больше не было.

Глава седьмая. Правило четвёртое

Правило четвёртое: если у человека нет указательного пальца — он не исполнит. Это единственная гарантия в этом мире. Уважай её, даже если презираешь тех, кто её выбрал.

Адрес привёл меня к складскому комплексу на окраине — из тех безликих строений с воротами на роликах и кодовыми замками, где хранят мебель после развода и коробки после переезда, а не к тому мрачному, кинематографичному месту, которое я почему-то ожидал увидеть. Ряды одинаковых металлических дверей, тусклые фонари на столбах, ни единой вывески крупнее таблички с номером юнита. Именно в этой банальности, как я потом понял, и была суть — самое незаметное место в городе.

Я приехал на пятнадцать минут раньше, как учили на всех курсах по трудоустройству, и тут же понял, что здесь это было ошибкой: стоять одному на пустой парковке в темноте дольше положенного означало быть заметным, а заметность в моём нынешнем положении стоила слишком дорого. Я сел обратно в машину, руки на руле, на виду, и ждал.

Она появилась без звука — я не увидел, как она подошла, только заметил движение в зеркале заднего вида, и вздрогнул так, что чуть не ударился головой о потолок салона.

— Вы рано, — сказала она вместо приветствия, наклонившись к окну. — Это хорошо. И плохо. Выходите, только медленно.

— У вас есть имя? — спросил я, выбираясь из машины. — Я не могу продолжать называть вас про себя «женщина с листком».

Она чуть помедлила, будто взвешивая, стоит ли мне это знать, — и, кажется, решила, что после Тревога это уже не имело большого значения.

— Марго, — сказала она. — Не настоящее. Но пользуйтесь этим.

Юнит номер сорок один выглядел снаружи точно так же, как соседние — сорок и сорок два, — с той же ржавой роликовой дверью и тем же навесным замком. Марго набрала код, которого я не видел, потому что она прикрывала панель плечом, — ещё одна деталь, которую я отметил и постарался не запоминать слишком демонстративно.

Внутри не было ничего похожего на то, что рисовало мне воображение по дороге сюда — ни полумрака, ни свечей, ни людей в масках. Ровный белый свет, складные столы, расставленные рядами, как на ярмарке вакансий, за каждым — один-два человека с ноутбуками, и негромкий гул разговоров, деловой, будничной, того же тембра, что я слышал каждый день в собственном опенспейсе.

— Это не рынок в смысле прилавков, — сказала Марго, заметив моё лицо. — Здесь ничем физически не торгуют. Здесь торгуют тем, что вы уже начали понимать сами, копаясь в таблицах вашей компании. Информацией.

Она подвела меня к первому столу, за которым молодой парень с усталыми глазами листал что-то на экране, не поднимая головы.

— Реестр, — сказала Марго тихо, чтобы не мешать. — Официальный список должников — публичный, его видел кто угодно, кто хоть раз гуглил ночью то, что не следовало. Но публичный список — это верхушка. Здесь торгуют тем, чего в публичном списке нет: у кого именно из неисполненных есть право, о котором никто не знает, потому что человек скрывает сам факт совершеннолетия дольше положенного, у кого финансовые проблемы настолько серьёзные, что цена вопроса перестаёт быть моральной.

— Вы хотите сказать, что кто-то продаёт списки людей, готовых убить за деньги.

— Я хочу сказать, что кто-то продаёт списки людей, у которых есть право, и отдельно — списки людей, которые в отчаянии. А дальше уже не моё дело, что происходит, когда эти два списка попадают в одни руки, — сказала она, и в её голосе не было ни капли того морализаторства, которого я ожидал. — Реформа не убила рынок насилия. Она просто лишила его

формы армии и раздала его на миллионы маленьких, частных сделок, каждую из которых по отдельности невозможно назвать преступлением.

Мы прошли дальше, мимо стола, за которым пожилая женщина что-то сверяла на бумаге старомодной ручкой, будто цифровой след внушал ей меньше доверия, чем чернила.

— Изменение выгодоприобретателя, — сказала Марго, не дожидаясь вопроса. — Формально это законная услуга — в любой стране мира человек имеет право переписать полис на кого захочет. Здесь просто помогают сделать это быстро, тихо и незадолго до даты, о которой клиент почему-то заранее знает.

Я вспомнил таблицу на своём экране в шесть вечера в четверг, кластер из девяноста трёх записей, и почувствовал, как по спине снова пробежал тот же холод.

— Ваша компания не изобрела эту услугу, — добавила Марго, будто прочитав мои мысли. — Она просто оказалась достаточно большой, чтобы превратить кустарный промысел в конвейер. Раньше это делали здесь, за одним из этих столов, вручную, за наличные. Ваш «Норт Стар» просто дал этому лицензию, бухгалтерию и налоговый вычет.

Я посмотрел на женщину за столом, методично сверяющую бланки старомодной ручкой, и вдруг понял, что не понимаю самого начала цепочки.

— А сам заказ? — спросил я. — Допустим, кто-то хочет, чтобы умер конкретный человек. Не абстрактный должник, не случайное имя из списка — именно этот, живой, с именем и лицом. Как это вообще устроено? Кто-то приходит и говорит «мне нужен вот этот»?

— Примерно так, — сказала Марго. — Не за этим столом — этим занимаются в другом крыле, туда я вас не поведу, и не потому что не доверяю, а потому что там будет ещё три человека, которые запомнят ваше лицо. Но да: если у цели уже есть полис категории Н, задача упрощается — просто ищут того, у кого есть право и достаточно отчаянные обстоятельства, чтобы согласиться. Если полиса нет, вашу компанию, как ни странно, тоже можно убедить его оформить, задним числом, если знать, к кому обратиться.

— Почему заказчик просто не сделает это сам? — спросил я. — Если это в принципе законно, если он уже нашёл того, кого хочет убрать, — зачем платить кому-то ещё вместо того, чтобы прийти и нажать самому?

Марго посмотрела на меня чуть дольше обычного, как смотрят на вопрос, который явно задавали далеко не в первый раз.

— Иногда у заказчика просто больше нет своего права, — сказала она. — Использовано раньше, по другому поводу, много лет назад. Легальный путь для него закрыт навсегда — вернуться к насилию можно только должником, а это совсем другая цена. Покупка чужого неиспользованного права — последняя законная лазейка, которая у него осталась.

— А если право ещё есть?

— Тогда дело не в законе, а в имени, — сказала она. — Применить право лично — значит навсегда, необратимо привязать своё имя к этой конкретной смерти. Чип фиксирует не просто факт исполнения — он фиксирует, кто именно исполнил и на ком. Родственники, полиция, коллеги — рано или поздно все сложат два и два, даже если закону мотив не нужен. Нанятый человек, у которого с целью нет вообще никакой личной связи, — единственный способ, чтобы смерть выглядела просто уличной, а не разрешённым сведением счётов.

Дальше был стол, за которым двое мужчин смотрели на экран, разбитый на квадраты — камеры, судя по всему, с разных точек города, — и обсуждали что-то с той же деловой скукой, с какой в моём офисе обсуждали KPI.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.